
ЮРИЙ ПОПОВ
СЫН СИБИРИ
ЕРМАК

Попов Юрий

Сын Сибири: Ермак

«Автор»
2026

Юрий П.

Сын Сибири: Ермак / П. Юрий — «Автор», 2026

Можно воевать за землю. За власть — предавать. Но что, если сама земля не желает быть покорённой?1581 год. Опальный казачий атаман Ермак отправляется за Урал — навстречу богатствам Сибири и славе. Но за его походом стоят интересы могущественных людей, а на востоке ждёт хан, не намеренный отдавать своё царство без боя.У каждого здесь своя правда, свои союзники и свои тайны. Пока люди плетут интриги и проливают кровь, в сибирских лесах пробуждается нечто, чему нет места в человеческих расчётах.История о завоевании и сопротивлении, верности и предательстве, цене власти и древней силе земли.

© Юрий П., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1 8
Глава 2 12
Глава 3 16
Глава 4 19
Глава 5 22
Глава 6 24
Глава 7 27
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Попов Юрий
Сын Сибири: Ермак

Пролог

Собаки замолчали в стане.

Старая Бике услышала эту тишину кожей. Ноги у неё к ночи всегда ныли, и третью ночь подряд она не могла уснуть: ходила вокруг ханской юрты, придерживаясь рукой за тёплый войлок, и бормотала себе под нос старые считалки. Стан стоял на высоком берегу Иртыша. Внизу чернела река с первой коркой льда, наверху дотлевали костры. Обычно в этот час псы грызлись из-за костей и лаяли на каждую тень. Сегодня они лежали молча, все до одного, положив морды на лапы. Смотрели в одну сторону, в чёрную стену тайги за санями.

— Что вы там углядели, сердешные? — спросила она шёпотом, точно надеялась на ответ.

Ближайший пёс покосился на неё, тонко заскулил и уполз под сани, волоча брюхо по снегу.

Бике перестала бормотать. Где-то у дальних юрт кашлянул дозорный и замолчал на полукашле. Ветра не было. В ноздри ударил запах мокрой шерсти.

Она открыла рот, чтобы закричать, и не успела.

Волки вышли из-за саней всей стаей. Они шли одной тёмной волной, без рыка и без воя, и от этой тишины было хуже, чем от любого шума.

Первый дозорный стоял у коновязи, опираясь на копьё. Волк прыгнул ему на грудь, и парень упал на спину, не успев поднять рук. Челюсти сомкнулись на горле. Дозорный булькнул багровизной и задёргал ногами. Второй волк вцепился ему в лицо и рванул. Вместе с лоскутом кожи отлетело ухо. Снег пропитался насквозь.

В момент поднялся вой по всему стану.

Юрты распахивались одна за другой. Мужчины выскакивали в одних рубахах, с саблями, с кольями. Волки валили их у самых порогов. Один воин рубанул зверя по хребту, тот взвизгнул и осел, но двое других уже висели у него на руках и тянули в разные стороны. Что-то хрустнуло, и воин завыл, точно сам был волком. Правая рука осталась у хищника в пасти, а из плеча била чёрная в темноте струя. Он ещё пытался ползти. Волк наступил ему лапой на спину и вырвал кусок бока. Дымящийся ливер вывалился на снег.

Женщина с узлом на руках побежала к реке. Серая тень догнала её у обрыва, вцепилась в ногу и поволокла назад. Татарка перевернулась на живот и закрыла собой узел, и волк принялся рвать ей спину. Она кричала, пока хватало дыхания, уходя в хрипение.

Бике не побежала. Она развернулась и, хромая, как могла быстро, пошла в юрту, к детям. Волки проносились мимо, обдавая её горячим запахом, но ни один не тронул. Это было страшнее всего остального, но времени думать об этом у неё не было.

Девочка спала на тёплой стороне, между двумя старшими братьями, подвернув под себя руку. Ей было пять зим. Бике подхватила её вместе с одеялом. Старший проснулся и сел на постели.

— Энкей1[1], а чего там кричат?

— Лежи, голубчик. Лежи тихонько и не вставай, слышишь?

Она отнесла девочку к задней стенке юрты, там, где за войлоком стояли гружёные сани, прикрытые шкурами. Подняла нижний край войлока, протолкнула девочку наружу, в узкую щель между полозьями и мёрзлой землёй, и сунула вслед одеяло.

---

[1] Мамочка

— Слушай меня, ласточка. — Бике говорила быстро, прямо в ухо. — Что бы ты ни услыхала, не вылезай. Не плачь, никого не зови. Поняла?

— А ты?

— Я мигом, моя хорошая.

У входа в юрту уже стоял хан Едигер. Он вышел в одной рубахе и в волчьей шубе, наброшенной на плечи, босой, с обнажённой саблей. Ему было за шестьдесят, борода у него совсем побелела, но плечи держались прямо, как у молодого. Много лет хан был для своего народа тем, кто кормит и защищает. Давно Едигер не вынимал саблю из ножен, и рука от этого отвыкла.

Из темноты вышел Кучум.

Он был невысокий, широкоплечий, в тёмной шубе, без шапки и без оружия в руках. Волки шли за ним, как собаки на привязи. С их морд капали пенные слюни. Остановился в десяти шагах от Едигера и посмотрел на него спокойно, почти с жалостью.

— Здравствуй, Едигер.

— Ты пришёл в мой дом ночью, как вор…

— Зиму тоже никто не ждёт, мой друг. И всё же она, рано или поздно, приходит.

— Смеешь называть меня другом? Я усадил тебя у своего очага, Кучум. Ты ел мой хлеб.

— И хлеб был хорош. — Кучум кивнул. — Как и соболя, что ты каждую осень шлёшь в Москву.

— Это цена мира! — Едигер шагнул вперёд, и голос у него сорвался. — У московского царя людей больше, чем деревьев в тайге. Я кормил свой народ, а ты хочешь его погубить!

— Ты кормил с руки чужого царя. Он уже зовёт нашу землю своей. — Кучум говорил негромко. — Ты, Едигер, отдал степь за мех и за спокойные ночи. А мне теперь это всё расхлёбывать…

— Они придут и сметут нас, как сухую траву.

— Придут… Придут в любом случае. Только с тобой войдут в Сибирь хозяевами, а со мной получат только кровь.

— Ты убьёшь моих детей ради своей гордости!?

— Ради своей земли, — сказал Кучум. — Гордость тут ни при чём.

Едигер закричал и бросился на него. Сабля свистнула, и ближайший волк завизжал, схватившись за рассечённый бок. Кучум не сдвинулся с места, только поднял два пальца, и волки навалились разом.

Первый вцепился хану в бедро и повис. Второй прыгнул на спину и сомкнул челюсти на шее, у самого позвонка. Едигер рухнул лицом в снег. Он ещё рубил, не глядя, сколько хватало силы в руках, пока третий волк не вырвал у него пальцы вместе с рукоятью. Его начали рвать. Он кричал долго, и голос его уходил то выше, то ниже, и от этого крика у Бике подгибались колени. Снег под ним растаял от горячей крови и превратился в чёрную кашу.

— Проклинаю тебя, — сказал Едигер, когда уже не было мочи. Голос был хриплый и ясный. — Степь тебя не простит.

Кучум смотрел, как он умирает, и до конца не отвёл глаз.

Он вошёл в юрту. Бике слышала всё. Мать её закричала один раз, пронзительно. Шум, мальчишеский плач, глухие удары. Бике закрыла уши ладонями, но и это не могло помочь.

Когда Кучум вышел, на его шубе темнели пятна. Он вытирал руки о снег и казался уставшим.

— Бике…

Ханская вдова стояла у стены юрты и не могла пошевелиться.

— Я мальчишкой гостил в этом стане, — сказал он. — Ты пекла мне лепёшки с мёдом. Помнишь?

— Помню, дитятко. Ты тогда ещё знал, что такое сострадание.

— Я и сейчас знаю, вы просто пока этого не поняли. — Он вздохнул. — Где меньшая?

— Не ведаю.

— Она спала между братьями. Постель тёплая и пустая. Ты нянчила её с рождения. Скажи, где она, и умрёшь легко.

Бике подняла голову. Она вдруг перестала бояться.

— Легко помирает тот, кто не боится, Кучум. А страх сидит только в тебе. Днём бы пришёл, при людях, коли смел.

Кучум помолчал.

— Где-то я уже это слышал…

Он достал из-под шубы саблю, короткую, с широким клинком, и ударил один раз, наискосок, без замаха.

Голова Бике слетела с плеч и покатилась по снегу. Тело постояло ещё мгновение и упало на колени. Голова прокатилась мимо юрты, вокруг гружёных саней и остановилась у самой щели между полозьями, где, не дыша, лежала пятилетняя девочка.

Бике смотрела на неё, не мигая.

Девочка зажала рукавом рот и вцепилась зубами в ткань, пока на устах не появился вкус крови.

Кучум постоял над телом и пошёл по стану. Волки укладывались на снег и вылизывали лапы. Рядом, бледный, с берестяной дощечкой, шёл молодой нукер2[2]и вёл счёт.

— Вся ханская кровь?

— Жена, сыновья, брат с женой и детьми, сестра. Двенадцать душ, хан. Как ты велел.

— А было сколько?

Нукер замялся.

— Тринадцать, — сказал Кучум. — Меньшую дочь я не видел.

— Может, зверь унёс, хан?

— Мои звери не едят детей, пока я не прикажу. — Он помолчал. — Найдите её.

Волков пустили по следу. Они обнюхали все юрты, кружили у саней, дошли до реки и вернулись ни с чем, поджав хвосты. Кучум в первый раз за ночь нахмурился.

А девочка к тому времени была уже далеко. Она выбралась из-под саней, когда стан затих, и у задней стенки юрты её ждала женщина в оленьей шубе, из лесных, из тех, что приходили к стану менять меха. Женщина не сказала ни слова. Она взяла девочку на руки, прикрыла ей глаза ладонью, чтобы не видела тела, и пошла к тайге, ступая след в след.

[2] Воин личной охраны

Глава 1

— Браты, бабка у обоза нагадала, шо ноне кого-то из нас приберёт, — сказал Кольцо.

— Да эти ведьмы каждый божий день кого-нибудь хоронят. — Ермак не повернул головы. Он лежал на мокрой траве у края рощи и смотрел на городскую стену, которая проступала из тумана серым горбом. — Сколько ж ты ей отдал?

— С пятак.

Кольцо хмыкнул и растёр рукавом лицо. Он вообще был мужик весёлый, даже перед штурмом, и Ермак за это его терпел, хотя сам с утра бывал злой, как собака, которую забыли покормить.

— А мне, анафеме, до Рождества не дожить напророчила, — подал голос Мещеряк, лежавший чуть дальше. Он жевал сухарь и сплёвывал крошки в траву. — В воде, грит, сгинешь.

— Ты, Матвей, купался в последний раз, когда государь есчё под стол ходил, — съязвил Кольцо. — Откель тебе вода?

— Вот и я ей об том!

Атаман Ермак повернулся на бок и посмотрел на своих. В низине, за рощей, лежали четыре сотни казаков. Лежали тихо, без костров, с мокрыми от росы бородами. Они пришли сюда из-под Пскова. Две недели шли по чужим дорогам, ели что придётся и плевали на польские разъезды. Сегодня им предстояло взять город, который сам король считал неприступным.

К Ермаку, ползком, цепляясь локтями за корни, подобрался Богдан Брязга, чёрный от земли, с блестящими от возбуждения глазами.

— Ну?

— Батька, ворота бочками с песком подпёрли, а засов, гутарят, гнилой совсем, они его второй год чиняют, ей-богу! Немчуров у ворот человек сорок, ляхи в казармах дрыхнут. На башнях по трое стрелков, остальные тож храпят. А на стене один всю ночь ходит и песню тянет.

— Шо запевает?

— По-ихнему, батька. Про девку какую-то.

— Его и сниму первым. — Ермак поднялся на колени. — Матвей, твои к левой башне. Иван, ты со мной на ворота. Богдан, коней держи. Откроем ворота — влетаешь с конными и бьёшь тех, шо из казарм повыскочат.

— А пленных как, атаман? — буркнул Мещеряк.

— Кто саблю оземь бросил, того можно и пощадить. А кто с дуру решит с казаками донскими рубаться, того и самого оземь надобно.

Туман начал редеть. На востоке небо стало серым, затем розовым, и на стене проступили зубцы и тёмные фигуры сторожей. Ермак перекрестился, сам не заметив этого, и сунул саблю в ладонь, чтобы рукоять легла плотнее.

— Айда, — вскрикнул басисто он.

Сто шагов по раскисшей траве, и каждый шаг отдавался в голове грохотом, как будто эти сапоги слышало всё Королевство Польское. Когда до рва осталось шагов пятьдесят, дозорный на стене наконец оборвал песню на полуслове, закричал и ударил в било.

Сверху щёлкнули арбалеты.

Казак справа, молодой, с рыжей бородкой, звали его Фома, вдруг споткнулся и сделал ещё два шага, держась за лицо. Между пальцев торчало оперение болта, а по подбородку текла чёрная кровь. Он упал на бок и стал скрести землю пятками. Ермак перепрыгнул через него, не сбавляя бега. Позади захрипели, и дальше застонали, закричали сразу в десяти местах.

Они перебежали ров по сброшенным лестницам и мостовым доскам. Пищали заревели с дальней башни, и казак рядом с Ермаком лишился половины головы. Брызги ударили Ермаку в лицо, он выплюнул сукровок и полез по лестнице.

Лестница тряслась. Сверху на него смотрела круглая рожа в шлеме, с рыжими усами, перекошенная от крика. Немец тыкал вниз алебардой. Ермак поймал древко левой рукой, дёрнул на себя, и немец, потеряв равновесие, перевалился через зубец и упал вниз, мимо Ермака, с долгим удивлённым криком. Что-то глухо хрустнуло во рву.

Ермак вылез на стену и сразу пригнулся. Над головой пронёсся топор. Он ударил снизу вверх, под подбородок, и сабля вошла в горло. Немец захрипел, схватился руками за шею. Из-под пальцев хлынуло, и Ермак оттолкнул его ногой.

На стене было тесно и скользко от крови. Кто-то падал, кого-то сталкивали вниз. Один казак упёрся ножом в глаз ляху, а тот уже вцепился ему зубами в ухо. Ермак видел, как на левой башне у Мещеряка кому-то разнесло голову, и тут же новый немец прыгнул на него сбоку. Ермак принял удар на клинок, дёрнул плечом. Сабля соскользнула по железу, и они покатились по настилу. Немец был тяжёлый, пах луком и кислой капустой. Он давил локтем на горло, и в глазах у атамана поплыло. Нащупал на поясе нож и ударил в бок, раз, другой, третий, пока немец не обмяк.

— Атаман! Ворота!

Кольцо уже был внизу, у створок. Он рубил засов топором, лицо у него было залито, левая бровь разорвана, и всё равно он скалился. Рядом с ним двое казаков откатывали бочки с песком. Один из них вдруг осел с арбалетным болтом в животе, тихо, как будто присел отдохнуть, и стал заваливаться набок. Кольцо перешагнул через него и сам откатил бочку.

Засов треснул на четвёртом ударе. Створки разошлись, и в проём ворвались конные, с визгом, с саблями наголо. Богдан Брязга шёл первым и рубил направо и налево.

Они растеклись по улицам. Ляхи выскакивали из казарм полуодетые, кто в рубахе, кто в одном сапоге, с саблями, с мушкетами. Их били на пороге. Одного, молодого, с едва пробившимися усами, рубанули поперёк живота. Он сел на пороге, придерживая руками распоротое брюхо, и стал просить по-польски, тихо и вежливо, чтобы ему дали воды. Никто не слушал. Мимо него пробегали казаки, и один наступил ему на руку.

Ермак ходил по улице с окровавленной саблей. Всё, что было вокруг, казалось ему далёким и нестрашным. Он уже много раз видывал такое. Мёртвые лежали вповалку, и чёрные ручьи текли между камнями мостовой к стоку. Из окон смотрели женщины, прижимая к себе детей. Где-то далеко, ровно и безнадёжно, плакал ребёнок.

К нему подошёл Мещеряк. Рука у него была обмотана тряпкой, левая щека рассечена до кости.

— Атаман, хлопцы месяц по грязюке шли, лютые як собаки. Дай хоть до вечеру дух отвести…

— С обозов сбирите сначала всё, только в хаты не лезайте.

— Не по-божески это, атаман.

— По-божески с ляхами у нас сроду не было, Матвей. — Ермак остановился и посмотрел на него. — Приказ атамана выполнишь, а после делайте шо хотите. Только, шоб к вечеру все на майдане стояли целые, а не лежали пьяные по погребам. А бабу тронет хто — на воротах вздёрну.

Мещеряк сплюнул и ушёл. Кольцо подошёл следом, вытирая лицо рукавом, и покачал головой.

— Лютый ты дюже, батька.

— Я всегда таковой.

— Нынче особливо. Шо с тобой?

— Не выспался. — Объяснять он не стал.

С самого утра что-то тянуло изнутри, как больной зуб. Он думал, что пройдёт, когда начнётся бой. Бой начался и кончился, а зуб всё оставался.

К полудню сдался замок. Гарнизон рубили в коридорах и во дворе, быстро и без лишнего шума.

Ермак сидел на краю колодца посреди площади, чистил саблю пучком соломы и слушал, как за стеной кто-то молится по-немецки. Бургомистр, толстый человек с седой бородкой, стоял неподалёку между двумя казаками и повторял одно и то же слово, которое Ермак не понимал. Бургомистр заплакал, и его увели.

Кольцо подошёл, пошатываясь, весь в чужой крови, и сел рядом на край колодца.

— Двадцать три наших положили, — сказал он. — Девять тяжёлых. Фому помнишь, рыжего? Стрелой прямком у глаз.

— Добрый казак был.

— Пятак, — сказал Кольцо тихо. — Права твоя, батька, дурной я на всю свою грешную голову. Цельный пятак ведьме отдал!

Ермак бросил солому на землю и убрал саблю.

— Где хата коменданта?

— Вон тот дом, с красными ставнями. На кой он тебе?

— Казна там должна быть да бумаги. Наёмникам ляхи платят, стало быть, деньги держат близко. Надо поглядеть…

— Я с тобой, батька.

— Ты замок дочищай. Сбежит кто — полгода по лесам рыскать будем.

Кольцо пожал плечами и пошёл к замку.

В доме стояла тишина, и после площади она показалась Ермаку странной. Кто-то уже побывал здесь: на полу лежали осколки блюда, в углу валялся мёртвый ляшский сержант с надкушенным яблоком в кулаке. Ермак прошёл мимо. Пахло воском и какой-то сладкой травой. Он не сразу понял, что свечи горят, хотя на улице был белый день. Они стояли в нишах вдоль лестницы, все до одной зажжённые, и пламя не колебалось.

Наверху скрипнула доска.

Он поднялся до середины лестницы и остановился.

На площадке стояла женщина. Невысокая, в чёрном платье, в белом платке. Немолодая. Лицо у неё было спокойное, что не могло не пугать. Ведь внизу, в замке, ещё доканчивали последних.

— Пришёл, — сказала она.

— Сторонись, мать, — сказал Ермак. — Баб я не трогаю. Покои коменданта мне нужны.

— Нет твои то покои, и делать в них тебе нечего. — Она шагнула вниз. — И дома у тебя нет больше…

— Стой, где стоишь.

Она не остановилась. Шла медленно, ступенька за ступенькой, и смотрела ему прямо в глаза, не моргая. Ермак положил ладонь на рукоять и вдруг понял, что не может вытащить саблю. Дело было не в страхе. Просто пальцы не слушались.

— Тимофеевич, — сказала она тихо. — Ермак Тимофеевич. Я ведь тебя тоже ждала.

Отчества его в этом городе никто знать не мог. Так его не звали даже казаки, которые ходили с ним двадцать лет.

— Откуда ты…

Она вцепилась в его ворот обеими руками. Откуда у неё взялась такая сила, он не понял. Полячка дёрнула его вниз, и лицо Ермака оказалось у самых её уст. Он почувствовал запах воска и чего-то сладкого, как от гнилых яблок. Горячее дыхание обожгло ухо.

— Придёшь за землёй, реку найдёшь, — прошептала она. — Вечный покой в той реке обретёшь!

Он оттолкнул её. Даже не ударил, просто пихнул обеими руками. Женщина ахнула и взмахнула руками. Нога её соскользнула со ступеньки. Она покатилась вниз. Звук был глухой и короткий.

Стало тихо.

Ермак оцепенел на лестнице и слушал, как стучит в висках. Внизу, на каменном полу, лежала женщина в чёрном. Платок слетел, седые волосы разметались. Один глаз был открыт и смотрел в потолок, и ему показалось, что она улыбается.

За двадцать лет он зарубил столько народу, что давно сбился со счёта. Ни разу после этого он не крестился и не пил с горя. А сейчас стоял на лестнице чужого дома и не мог вложить саблю в ножны. Руки ходили ходуном.

— Атаман!

Кольцо вбежал в дом с саблей наголо и остановился.

— Это ещё шо такое?

— Упала.

— Сама шо ль?

— Бросилась. — Ермак сошёл вниз и обошёл её, не глядя. — Я пройти хотел, а она на меня. Не знаю, чаво ей…

Кольцо осторожно присел рядом, потрогал шею и перекрестился.

— Мёртвая. А шо ей надо было-то?

— Бормотала шо-то.

— По-ихнему?

— Да…

Он соврал и сам не понял зачем. Кольцо посмотрел на него снизу вверх, долго, но ничего не спросил.

— Добре, — сказал он наконец, поднимаясь. — Казну опосля сыщем. Айда отсюда.

В ту ночь они стояли лагерем на площади. Горели костры, на которых казаки жарили ляшскую свинину, пили трофейное вино и пели. Ермак спал плохо. Ему снился дом с красными ставнями, лестница и она, сидящая на нижней ступеньке. Платок был на месте, глаза закрыты. Она ничего не говорила, только шевелила губами. Он наклонялся всё ближе и ближе и ничего не слышал.

Утром Кольцо разбудил его и сел рядом на бочку.

— Ты ночью гутарил.

— Шо гутарил?

— Про реку шо то, чёрт его разберёшь. — Кольцо почесал свежий шрам на брови.

— Сон дурной видать.

— Вот и я так прикинул.

Ермак встал, натянул сапоги и пошёл к лошадям.

Глава 2

Бабка не соврала. Мещеряк и правда утонул в Двине за неделю до Рождества.

Случилось это на переправе, где казаки третий день ждали, пока река встанет как следует. Лёд на Двине схватился у берегов, а посредине шла чёрная вода с шугой, и воевода, у которого они стояли, советовал обождать ещё дня три, а лучше неделю. Ермак ждать не хотел. Ему надоели разговоры у костров и жалобы на задержанное жалованье. Ему надоело, что Кольцо смотрит на него по утрам так, будто хочет о чём-то спросить и не решается.

— Чего хмурый, батька? — сказал Кольцо, пока они стояли на берегу и смотрели, как двое казаков щупают лёд пиками. — Ляхов побили, град взяли, домой едем. Ить люди ждут! Бабы пироги пекут!

— Твои бабы тебя давно схоронили.

— Шо!? Это они зря. — Кольцо подмигнул. — Я им с дороги гостинцев привезу.

— Гостинцев он… — Мещеряк сплюнул через левое плечо и перекрестился. — Ты бы лучше ко льду прислушался. Трещит, як шаровар по швам.

— Ясно дело трещит, он на то и лёд.

— Не любо мне это всё…

— Да тебе шо не случится, всё не любо!

Мещеряк что-то буркнул себе под нос.

Ермак посмотрел на реку. Серая, широкая, с белыми языками вдоль берега. На той стороне стояли избы, тянулся дым, и до тёплой печки было полверсты. Что-то сжимало ему скулы, и не мог он понять, на что злится.

— Лука! — крикнул он. — Ты первый пойдёшь.

Лука Перегуда, старый казак с бельмом на левом глазу и вечной трубкой в зубах, медленно вытащил трубку и посмотрел на атамана.

— Чаво это я?

— Ты грузный. Тебя лёд коль выдержит, остальных и подавно.

— Ото спасибо за доверие. — Лука вздохнул, поправил шапку и повёл лошадь к берегу. — Первым в прорубь лезть, шо ж, честь. Дай Бог, меня потом хоть в песнях помянут.

— Помянут, тока как ты за чаркой в прорубь нырял, — подхватил Кольцо.

— Ээх, ну вы, хлопцы, хоть спойте, шоб красиво.

Лука прошёл. Лёд поскрипывал под копытами, но держал. На середине реки Лука обернулся и показал им кукиш. Казаки заржали во весь голос. За ним двинулись остальные, по одному, шагах в двадцати друг от друга. Ермак вёл свою лошадь в поводу и слушал реку. Она говорила тихо и ровно. Ничего плохого, но ему всё равно не нравилось.

Мещеряк шёл через пять человек позади. Он нёс на плечах узел с добром и бормотал себе под нос какую-то молитву, злую и быструю, больше похожую на ругань.

Лёд под ним ушёл без треска.

В момент стал мокрым, и Мещеряк вместе с узлом, с лошадью и с молитвой сразу провалился по грудь.

Лошадь заржала. Она билась грудью о кромку и ломала лёд копытами. Чёрная вода хлестала через край. Мещеряк пытался ухватиться за лёд, но тот крошился под пальцами. Узел потянул вниз. Он успел крикнуть что-то короткое и ушёл с головой.

— Матвей! — заорал Кольцо.

Ермак не стал думать. Он бросил поводья, добежал до пролома и упал на живот, ползя по прогибающемуся льду. Перед ним кипела чёрная дыра, а в глубине мелькнуло что-то белое, то ли лицо, то ли тряпка. Он сорвал с себя ремень и швырнул Кольцо, который бежал следом.

— Держи!

Нырнул.

Вода ударила как молотом. Дыхание вышибло сразу, и в груди стало пусто. Ермак открыл глаза и увидел зелёную муть. Руки нащупали ткань, потом воротник, мокрую бороду. Он рванул вверх. Что-то мягкое и белое скользнуло рядом. Мещеряк был тяжёл, как мешок с камнями. Ермак упёрся ногами, лёд подломился, и они пошли вниз второй раз.

Ремень натянулся. Кольцо рвал, что было сил. Они выдрались вдвоём, цепляясь за кромку, и Кольцо с Брязгой, лёжа на животах, выволокли их обоих на крепкий лёд.

— Батька! Батька, живой?! — Брязга хлопал его по спине, и голос срывался на визг. — Ей-богу, я думал, обоим конец! Как ты прыгнул, я ажно закричал!

— Не ори. — Ермак выплюнул воду и закашлялся. Руки у него были синие, пальцы не гнулись. — Матвея растирай.

Мещеряка перевернули на живот, и из него хлынула вода. Он лежал, дёргался, хрипел. Вскоре однял голову и сказал отчётливо:

— Тьфу, анафема.

— Живой, — сказал Кольцо и перекрестился. — Матвей, чертяка, ты шо ж такое творишь?

— Лёд, — сказал Мещеряк. — Я ж тебе гутарил, Фома ты...

Их раздели у костра, растёрли шерстью, влили в рот по чарке горилки. Лука Перегуда сидел рядом на корточках и разглядывал Мещеряка с уважением, словно вернулся с того света.

— Бабка-то, шо у обоза, не сбрехала, — пробурчал Перегуда. — В воде, вишь... Ото ж утонул.

— Не утонул же, — усмехнулся Ермак.

— А хлебнул, как положено. Просто не до смерти.

— Да заткнись ты вже, Лука, — прохрипел Мещеряк слабым голосом.

Они сидели у костра молча. Мещеряк пил горилку маленькими глотками, трясся и смотрел в огонь.

— Я, братцы, там не один был.

— Хде там? — спросил Кольцо.

— Где, где — под водой. Темно, холодно, ничаво не видать. А потом глядю: стоит. На дне стоит, ногами в иле. Баба. В платке белом.

Никто не шевельнулся. Ложка, которой Ермак мешал в котелке, замерла на полпути.

— Лица не разглядел, — продолжал Мещеряк. — Только платок. Стоит и глядит на меня. А потом гутарит так, батька. Прямо в голове у меня…

— Шо гутарит то? — тихо спросил Ермак.

— «Не твоя это вода, Матвей. Ступай. Отпусти». Я не понял, шо отпустить. А там ты меня схватил.

Костёр потрескивал. Кольцо кашлянул.

— Бредил ты, — сказал Ермак. Голос у него был ровный. — Воды нахлебался, вот и привиделось. Иди ночуй.

— Може, и бредил, — сказал Мещеряк. — Только платок был. Я его потом ещё долго видел.

Ермак встал и отошёл от костра. Ветер на реке был такой ледяной, что слезились глаза. Глаза ему мозолила чёрная воду, в которой только что тонул его товарищ. Вспоминал он белое пятно в глубине. Лёд, говорил он себе. Это был лёд или шуга. Больше нечему там быть.

Но в ту ночь она пришла снова.

Она сидела у его постели. На этот раз платок лежал у неё на плечах, и седые волосы были мокрые, как будто она только что вышла из реки. Говорила она не губами, как и рассказывал Мещеряк. Слова вставали в голове сами и повторялись, пока он не научился их различать.

Придёшь за землёй, реку найдёшь.

Вечный покой в той реке обретёшь.

Проснулся весь мокрый, с колотящимся сердцем. Кольцо сидел рядом на бочке и смотрел на него.

— Опять?

— Шо?

— Шестую ночь подряд. Бормочешь, потом дёргаешься, потом глаза вытаращишь, как будто чёрта увидал. Я, батька, тебя не первый год знаю. Ты в плену сидел, ты под ляшскими пушками стоял, а шоб ночью зубами скрипеть, ни разу такого не было.

— Пройдёт… Озяб видать на земле чужой.

— Оно то может. — Кольцо почесал бровь. — А вот шо за баба там, на лестнице, была? Не расскажешь?

Ермак ничего не ответил. Он повернулся на бок и долго смотрел в тёмный полог шатра. Через мгновение вымолвил, не оборачиваясь:

— Если б я сам знал, Иван…

К Крещению дошли до Острова. Город стоял на берегу Великой, серый, приземистый, с кривыми башнями. Воеводой в нём сидел боров, которого казаки возненавидели, не успев ни разу с ним переговорить.

Боярин Тимофей Булыгин был толст, важен, в шубе до пят и в шапке такой высоты, будто нёс на голове ведро. Рядом с ним стоял дьяк, худой, жёлтый, с чернильными пальцами и книгой под мышкой.

— Атаман Ермак, — сказал Булыгин, не вставая. — Наслышан. Садитесь.

— Постою. — Ермак остался на пороге, рядом с Кольцо и Мещеряком. Мещеряк был ещё бледен и тяжело дышал. — Мы за жалованьем пришли, воевода.

— За каким жалованьем? — Булыгин поднял брови. — Вы казаки вольные. Государь вас держал от щедрот, а не по обязательству.

Казаки переглянулись.

— Мы град для него взяли…

— И слава вам за это. — перебил атамана Булыгин — А жалованье… Дьяк, поясни гостям.

Дьяк раскрыл книгу, зашелестел страницами и принялся читать скучным голосом:

— «Казакам атамана Ермака, сына Тимофеева, четыреста человек, жалованье за август, сентябрь, октябрь и ноябрь выдано сполна, в сумме двух тысяч четырёхсот рублей, под роспись».

— Это ж под чью роспись? — спросил Ермак.

— Твою, атаман. Чью ж ещё?

— Не расписывался я, да и писать то не обучен.

— Роспись есть. — Дьяк повернул книгу. — Вот. Рука не твоя скажешь?

На странице стоял крест, а под ним закорючка, отдалённо похожая на казачью нагайку.

— Не моя то рука, аманат!

— А чья ж тогда? — спросил Булыгин вкрадчиво.

— Та, что в зепе кафтана твоего, воевода.

Дьяк захлопнул книгу. Мещеряк у стены выругался вполголоса. Кольцо, наоборот, оживился и подошёл ближе.

— Господин воевода, — сказал он весело, — ты, видать, батьку нашего не знаешь. Он когда осерчает, хуже чёрта. А мы с ним по-хорошему пришли, без топоров.

— Следи за языком, холоп! — Булыгин побагровел. — Ты в чьём доме стоишь?

— Да вроде как в государевом.

— То-то. — Булыгин привалился к спинке кресла. — А ты, атаман, не забывайся. Ты вообще на воле только милостью государевой. Приговор по тебе есть, с семьдесят девятого года. Висеть тебе давно положено.

— Ну тогда шли тех, кто приговор мой исполнит, — сказал Ермак. — Только нехай сперва во двор выглянут. Там мои четыре сотни стоят. Они до сих пор помнят, как в Ливонии рубили.

Воевода вскочил.

— Ты мне грозишь?

— Я тебе дело гутарю.

Они смотрели друг на друга. Булыгин дышал тяжело, шея его налилась кровью. Потом он вдруг опустился в кресло и сказал глухо:

— Государь в Москве о тебе знает. Пусть он и решает. А жалованье… ищи его у того, кто расписывался.

— Найду, — сказал Ермак. — Я то найду, не сомневайся.

Они вышли во двор. Казаки ждали у ворот, угрюмые, с руками на рукоятях. Брязга сразу рванулся навстречу.

— Ну, батька?

— Надули.

— Ах ты, ей-богу! Вешать надо этого борова!

— Не время пока.

— А когда?!

Лука Перегуда выбил трубку о каблук.

— Ото вот и вся служба. Мы им город, они нам крест в книжке. Было б у нас ума, мы б ещё в Ливонии остались.

Через три дня, ранним утром, у казачьего лагеря остановились сани с красным полозом. С них слез человек в жёлтом кафтане с длинной грамотой, и казаки сразу признали в нём государева гонца. Он прошёл через стан, не глядя по сторонам, и остановился перед шатром Ермака.

— Атаман Ермак Тимофеевич?

— Ну я.

— Государь велел явиться в Москву, пред его очи. С тобой двое ближних, и не более. Выезжай немедля.

Ермак взял грамоту и долго смотрел на печать. Кольцо шепнул ему на ухо:

— То либо виселица, либо шо похуже.

— Если б хотели повесить, — сказал Ермак, — прислали бы полк, а не одного гонца.

Глава 3

— Руки подними, — сказал стрелец.

Ермак задрал вверх обе. Стрелец был здоровенный, борода лопатой, кафтан красный, и ощупывал он Ермака по-деловому, как барышник коня.

— Нож в сапоге. Достань.

Ермак вытащил клинок.

— Ещё есть?

— Нет.

— Есть. — Стрелец вытащил из-за пояса второй, поменьше. — Врёшь, атаман.

— Запамятовал.

— Не памятовал бы ты, покуда голова ещё на плечах.

Рядом другой стрелец обыскивал Кольцо, и Кольцо вдруг захохотал.

— Ты чего?

— Да щекотно же, браток! — Кольцо вывернулся. — Ну, есть у меня нож за пазухой. И в рукаве. И в голенище. Ты руки мне задери, оно само всё повылезет, тебе и искать не нужно.

— Ты пошути у государя!

— Да не шуткую, я служивый. Я у самого государя в гостях, шо я, дурак какой шутковать? Я с перепугу веселюсь.

Стрелец невольно хмыкнул и забрал три ножа. Мещеряка с ними не пустили. Он остался во дворе, у коновязи, бледный, и всё крестился. Ермак перед входом обернулся на него и увидел, что тот опять плюёт через левое плечо.

Они ждали в тесной прихожей, где пахло воском и мокрыми шубами. Было душно. Кольцо потел и поминутно вытирал лицо рукавом. Ермак стоял неподвижно и смотрел в стену. Дорога от Острова заняла у них дней девять. За это время ни один из троих ни разу не заговорил о гонце, о платке и о том, что будет в конце пути. К ним подошёл окольничий, сухой, длинный, в шубе с горностаевым воротом, с усталым лицом. Он смерил их взглядом с головы до ног.

— Атаман Ермак?

— А вы кого другого ждали?

— Окольничий Лавр Ржевский. Слушай внимательно, ибо повторять не стану. В палату войдёшь, поклонишься до пола. На государя глаз не поднимай, пока не велит. Отвечай, когда спросят, и коротко. Государь ноне не в духе. С ним, по скорби его, так случается. Скажешь лишнее, не к плахе, так к плетям. Уразумел?

— А то, как же.

— Ты тать и разбойник, а в палату идёшь. Сам разумей, какая милость.

— Да разумею, переказал же.

Ржевский помолчал и добавил вполголоса, не глядя на Ермака:

— А коли спросит про сына, молчи. Хоть режь, молчи.

— Про какого сына?

— Не твоего ума дело.

Двери растворились.

Палата была низкая, жаркая, с закопчённым сводом. Иконы висели в три ряда, золото сверкало в свете сотни свечей, и Ермак невольно зажмурился. Пахло ладаном, воском и чем-то горьким, как будто в углу постоянно кипело какое-то варево. В дальнем конце, под образом Спаса, в высоком кресле сидел человек. Ермак видел его только краем глаза, потому что смотреть полагалось в пол. Но успел заметить тёмное платье, сутулые плечи и пальцы на подлокотниках, толстые, опухшие, которые всё время двигались, перебирая невидимые чётки.

— Подойди.

Голос был тихий и высокий, неожиданно спокойный. Ермак сделал три шага, опустился на колени и коснулся лбом пола.

— Встань.

Ермак замер в полупоклоне. Шея затекла сразу.

— Ермак, — сказал царь. — Ты Ермак. Или Ермолай? Как тебя крестили?

— Ермак, государь. Так кличут.

— Ермак, — повторил царь. — Не знавал таких имён.

— Почту за честь, что тепереча знаете, царь-батюшка.

Кто-то сзади, у двери, тихо кашлянул. Ржевский, видно. Но царь вдруг хмыкнул, сухо, как кашлянул.

— Дерзок. Это славно. Дерзких люблю. Они живут недолго, зато ярко горят. Подними голову.

Перед ним сидел старик. Ему было за пятьдесят, но выглядел он на все семьдесят: жёлтая кожа, редкая борода клочьями, воспалённые веки. Он смотрел на Ермака из-под этих век, и глаза у него были страшные. В них не было ни злобы, ни ярости. Ермак видел такие у волков, которых слишком мало кормят, либо слишком долго держат на цепи.

— Разбойник значит?

— Атаман, государь.

— Атаман. — Иван Васильевич сморщился, как от кислого лимона. — Что ж ты она тогда послов моих ногайских ограбил. Разве то не разбой?

Царь вдруг подался вперёд, и трон скрипнуло.

— Грабил, признаю.

— И отпираться не будешь?

— Чаво мне отпираться, царь-батюшка? Ты и так всё ведаешь. Али огуда я какой?

Царь откинулся.

— Ногайский мурза мне писал, будто я своих псов на его гостей спустил. Я ему отвечал, что псов своих спускаю по надобности. А надобность у меня одна: чтоб никто не думал, будто может безнаказанно… — Он оборвал себя и вдруг спросил тихо: — Сколько ты убивал, атаман?

— Не вёл счёту

Он помолчал. Пальцы его затихли на подлокотниках.

— А я вот, грешный, каждую ночь считаю.

В палате стало очень тихо. Где-то за стеной капнул воск. Ермак стоял неподвижно и чувствовал, как по спине стекает пот. Кольцо рядом дышал через рот.

— Мне нужен тать, — сказал наконец царь.

— Государь?

— Хороший тать знает, где что плохо лежит, и легко может прибрать к рукам — Царь поднялся, тяжело опираясь на посох. Ржевский метнулся было подать руку, но Иван Васильевич остановил его одним взглядом. Он прошёлся по палате, стуча посохом по плитам. — Знаешь, кто таков Кучум?

— Наслышан, государь. Хан то сибирский.

Царь остановился у иконы и перекрестился, быстро и зло.

— Он мне писал, иуда. Что земля та его, что дани он мне не даст, что я не царь ему. Едигера, холопа моего, что мне соболей слал, зарезал вместе с родом.

Ермак внимал каждому слову.

— До Едигера мне дел нет. Мне соболей жалко. — Царь повернулся к нему. — Ты пойдёшь за Камень. С теми, кто с тобой. Строгановы дадут пушки, хлеб, порох. Больше у меня ничего нет. Войско в Ливонии лежит, казна пуста. Ты моё войско, Ермак.

— То верная смерть, государь.

— Всё нас ведёт к смерти. — Царь снова сел и положил ладони на колени. — Возьмёшь Сибирь, прощу тебе всё. Ногайцев, Волгу. А коль не возьмёшь, никогда больше дом свой не увидишь. Мне и такой исход годится.

— Дозволь молвить, царь-батюшка, — подал голос Кольцо, и Ржевский за спиной зашипел. — А людей-то сколько дашь?

— Четыреста у вас есть. Больше не будет. — Царь даже не посмотрел на него. — А ты кто таков?

— Иван Кольцо, государь. Товарищ его первый.

— Кольцо. Ещё одно прозвище. — Царь скривил губы. — Товарищ, значит, первый. Вот с ним первым и пойдёшь.

— Дело понятное, — сказал Кольцо и поклонился.

Царь опять уставился на Ермака, и в глазах у него мелькнуло что-то странное.

— Молвят, у Кучума зверьё в слугах. Будто над тварями лесными верх имеет…

У Ермака внутри что-то оборвалось. Он стоял и слышал, как женщина с мокрыми волосами, которую он убил на лестнице, повторяет у него в голове: «…кормит волков с руки». Лицо он удержал, но царь, видно, что-то заметил.

— Дурно тебе сделалось?

— Ничего, государь.

— Врёшь. — Царь прищурился. — Ну и ладно. Брехня, конечно.

— Я пойду.

— Ступай. — Царь помолчал. — Сыновья есть то у тебя?

— Нет, государь.

— Благо тебе. — Пальцы его замерли и вдруг мелко задрожали. — Некому по тебе слёзы лить будет. Аки и по мне…

Ржевский у двери застыл. Кольцо перестал дышать. Ермак смотрел в пол и молчал.

— Ступай, — сказал наконец царь и сразу как будто потерял к нему интерес. — Не вернёшь Сибирь, не возвращайся.

Они пошли к двери, пятясь и кланяясь. Ржевский шёл следом, и лицо у него посерело.

— Жив, атаман, — сказал он на крыльце. — Мало кто так с государем разговаривает и живым уходит.

— Разве то милость, — выдохнул Ермак. — На верную смерть отправил…

Во дворе Мещеряк кинулся им навстречу, серый лицом.

— Ну?

— В Сибирь едем, — сказал Кольцо. Он был бледный, лоб блестел от пота. — Шо за место такое, не ведаю. Но, знать, хорошее, раз сам государь нас туда шлёт.

Они молча сели на коней. Москва вокруг гудела, звонила, торговала, и никому не было дела до троих казаков, которые только что получили приказ завоевать целое ханство.

В ту ночь на постоялом дворе она пришла снова. Села на край лавки, туда, где он положил сапоги. Она ничего не говорила. Только смотрела на него, и в зрачках у что-то двигалось, тёмное и многочисленное, как стая собак.

Он проснулся и впервые не стал уговаривать себя, что это сон. Сел на лавке, потёр лицо ладонями и сказал вслух, в пустую комнату:

— Не дождёшься.

Комната не ответила. Но на наружном подоконнике, там, где за ночь намело снега, он увидел следы. Звериные, крупные, с чёткими когтями. Они шли от края окна к краю и обратно, как будто кто-то всю ночь ходил по узкому карнизу второго этажа и глядел внутрь.

Глава 4

— Тридцать рублей, — сказал Семён Строганов.

Ермак подумал, что ослышался.

— Это за шо?

— За три дня прибывания. — Строганов не поднял головы от книги. Он сидел за длинным столом, заваленным бумагами, маленький, сухой, в тёмном кафтане без шитья, и водил пальцем по строчкам, будто читал молитву. — Хлеб, мясо, сено, дрова. Ваши люди, атаман, едят с знатно.

— Думал я, что в гостях…

— Гостей я кормлю даром. — Он наконец поднял глаза. Глаза у него были светлые и спокойные. Ермак не любил, когда на него так смотрят. — А вы пока только покупатели.

Кольцо за спиной Ермака кашлянул в кулак. За окном скрипел колодезный журавль.

Они пришли сюда три дня назад. Орёл-городок вырос из леса на высоком берегу Камы, как чирей: дубовый острог с башнями, пушки на стенах, слободы, лабазы, склады, а над всем этим дымили соляные варницы, и дым ложился на тайгу жирными полосами. Казаки такого не видывали. Здесь стояла целая страна, сколоченная из брёвен.

В острог их не пустили. Поставили в слободе, на скотном дворе, откуда ещё не успели убрать коров, и выдали ведро щей на десятерых. Лука Перегуда ходил по двору, сплёвывая, и ворчал.

— Гляди, Ермак. Нас как нищих приютили. Были б мы князья какие, поселили бы в хоромах.

Три дня им не говорили ничего. На четвёртое утро прибежал мальчишка в хорошем кафтане и объявил, что Семён Аникиевич изволит принять атамана.

В момент они стояли в горнице, где пахло воском, чернилами и сухими травами. Хозяин выставлял им счёт.

— У меня нема тридцати рублев, — сказал Ермак.

— Значится запишем в долг. — Строганов закрыл книгу. — Присаживайтесь, атаман. Вы стоите, как на допросе, а мы здесь просто беседуем.

Ермак не стал садиться.

— Государь, стало быть, писал про нас?

— Было такое. — Строганов коснулся пальцем свитка на краю стола, но разворачивать не стал. — Велено вам помогать. А чем помогать, государь не указал. Потому сам решать и буду.

— Что ж для тебя, аника, указ царя-батюшки не в указ вовсе?

— Он много чего велит, батюшка. А казна у него пуста. Знаете, кто ему на Ливонию деньги давал? — Строганов улыбнулся одними губами. — Государь мне должен больше, чем стоят все ваши сабли, вместе с вами и вашими лошадьми.

— Жила, — вполголоса брякнул Мещеряк, стоявший у двери.

Строгановские глаза скользнули на него без раздражения.

— Не жила, батюшка. Жила из человека тянет только. А я вкладываю, так, что вложенное возвращается с прибылью.

— А если не вертаемся? — спросил Кольцо весело. Он стоял, привалившись плечом к косяку, и разглядывал резной потолок, будто прикидывал, сколько за него дадут. — Мало ли. Помрём там, в Сибири. Тебе прибыль, а нам лопух на могиле.

— Вот потому, голубчик, и сбираю с вас заранее. — Строганов кивнул ему почти ласково. — Весёлый вы человек. Весёлых людей легче всего купить, они не так дорожатся.

Кольцо открыл было рот, но ничего не сказал.

— Мне нужон порох, свинец, хлеб и пушки, — сказал Ермак. — Сорок пудов пороху, двадцать свинца. Хлеба на четыреста ртов до весны. Три пушки.

— Это… немало.

— Гляди, как сказать. За Камнем лавок нет, как потом выживать прикажешь?

— Вы мне про Камень не рассказывайте, атаман. — Строганов откинулся на спинку кресла. — Я туда за двадцать лет шестнадцать отрядов посылал. Вернулись только трое. Не прямо из Сибири даже, а с полдороги, и тоже недовольные. Знаете, что мне это стоило? Нет, не знаете.

Говорил он тихо и ровно, ни разу не повысив голоса. Тридцать одна деревня сожжена за девять лет.

— Не стены, батюшка, стены дело наживное, а люди, четыреста двадцать душ угнано в полон. Две варницы стоят пустые. Кучумов племянник Маметкул три года назад дошёл почти до Чусовой, и если бы не зима, не стояли бы вы тут, а слушали б, как ваши сапоги шуршат по пеплу. Каждый год убыток…

Строганов называл цифру, от которой у Ермака на миг потемнело в глазах.

— Значит, тебе нужна Сибирь, — обронил Ермак.

— Сама Сибирь мне не к чему. — Строганов сложил маленькие руки на животе. — Мне нужны соль, мех и тишина на Каме. Сибирь это только способ получить тишину. Может, самый дорогой, а может, единственный. Вот потому вы здесь, атаман, а не на виселице у воеводы Булыгина. Государь вас помиловал, а я вас купил.

— Сколько у вас людей в стане? — спросил Строганов.

— Четыре сотни

— Было четыреста пятнадцать. Тринадцать умерли в дороге, двое ушли ночью. Один из них нынче продаёт ваших лошадей на торгу в слободе. Вы не волнуйтесь, лошадей я выкуплю. С вас запишу.

Ермак молчал. Только плечи у него чуть напряглись.

— Акий, следишь за нами?

— Это моя обязанность перед самим собой. — Строганов встал, и оказалось, что он совсем невысок, едва до плеча Ермаку, и опирается на палку с серебряным набалдашником. — Ступайте. Подумаем. Зима длинная, спешить некуда.

— У меня четыре сотни ртов, разумейте это.

На лестнице им встретился молодой человек в синем кафтане, жилистый, быстроглазый, с острым подбородком. Он поднимался, перескакивая через ступеньку, и остановился на площадке, чтобы пропустить их. Взгляд скользнул по Ермаку, задержался на шашке и вернулся.

— Хорошая, — сказал он. — Дорогая. Если что, продадите?

— Если что, сам найдешь. Шашки не продаются.

— Ну, раз такое дело. — Молодой улыбнулся. Улыбка была быстрая и совсем не тёплая. — Максим Яковлевич Строганов, будемте знакомы.

Он побежал наверх, и дверь горницы хлопнула за ним.

У них, видать, уся семейка такая — выдохнул Кольцо, провожая Строгонова взглядом.

Они вышли во двор. Был вечер, сырой и холодный. Из слободы тянуло дымом и кислой капустой. Мещеряк шёл позади и ворчал себе под нос:

— Тридцать рублей за щи. Анафема. Я б за таки деньги сам его накормил.

— Ты б его отравил, Матвей, — сказал Кольцо.

— Ну и поделом ему.

Ночью Ермак не спал. Он поднялся на стену, где ходили стрелецкие дозоры, и встал у зубца, глядя на чёрный лес. Кольцо пришёл следом и остановился рядом, кутаясь в зипун.

— Считает нас, иуда — прогнусавил Кольцо. — Каждую папаху, шо не с его зепка.

— Хоть знать цену себе будем. — Обронил Ермак.

У соседнего зубца стоял дозорный, пермяк, невысокий, плотный, в тулупе до пят. Он прислушивался к лесу и всё время потирал нос.

— Не стойте тут долго, батюшки, — сказал он негромко. — Однако, простудитесь.

— А тебе чего с того? — спросил Ермак.

— Да ничего. — Дозорный мотнул подбородком в темноту. — Слыхаете? Третью ночь так.

Ермак прислушался. Сперва ничего, шорох сосен, далёкий лай собак из слободы. Очень издалека, поднялся одинокий вой. Долгий, чистый, ровный. Он тянулся и тянулся, не меняя высоты. Обрывался и начинался снова.

— Бирюк1[3]ак бирюк, — сказал Кольцо.

Дозорный поёжился.

— Волки стаей воют, перекликаются. А этот один. Сидит на опушке и воет, прям на нас. Всё в одну сторону, на воротах. Раньше такого не было.

— Охотничьи что гутарят?

— Говорят, чтоб не шлялись ночью. — Дозорный опять потёр нос. — Я бы и сам не ходил никуда, батюшки.

Ермак усмехнулся, зло, самому себе.

— Иди спать, служивый.

— Не положено, однако. Караул.

— Тогда стой и не пужай людей.

Дозорный отошёл. Кольцо постоял ещё немного, зевнул и хлопнул Ермака по плечу.

— Идём, батька. Замёрзнешь.

— Иди. Я ещё постою.

Кольцо ушёл. Волк выл до рассвета, ровно, не торопясь, и Ермак простоял на стене до утра и ни разу не отвернулся.

[3] Волк

Глава 5

Дядины паузы Максим ненавидел больше сырости, нищих и польских векселей. Семён Аникиевич мог молчать четверть часа, глядя на пламя свечи.

Сейчас дядя молчал уже минут десять.

В верхней горнице Орла-городка было жарко от печи и тесно от книг. Счётные лежали на столе, на лавках, на подоконнике и просто на полу. Над ними висела карта Прикамья, исчерченная чернилами: красные точки означали сожжённые слободы, синие действующие варницы, чёрные кресты кладбища.

Дядя сидел в кресле у печи, Никита, двоюродный брат, у окна, перебирая чётки, а писарь Ефим, сухой, как копчёная рыба, скрипел пером в дальнем углу и делал вид, что его здесь нет. Максим стоял посреди горницы. Ходить по ней тоже не получалось, места не хватало.

— Ну? — не выдержал он. — Скажите хоть что-нибудь, дядя. Вы ему три часа назад тридцать рублей за щи выставили. Я думал, хотите унизить. А теперь молчите…

— Он нам ещё будет должен, — сказал Семён Аникиевич.

Никита перекрестился.

— Грех это. Человек с дороги, люди голодные. Мы могли бы…

— Никита, — перебил Максим, не поворачиваясь, — ты бы хоть раз посчитал, во сколько нам обходится твоё милосердие.

Семён Аникиевич поднял ладонь, и оба замолчали.

— Ты видал его, Максим. Что думаешь?

— Бешеный пёс. — Максим ответил, не думая. — Глаза горят, как у голодного. Мне такие только в кошмарах да снятся. С ними нельзя ни дружить, ни торговаться.

— Чепуха, торговаться можно со всеми.

— С этим нет… Возьмет только своё, а если захочет, то и вовсе ни с чем оставит.

— Затем он нам и нужен. — Дядя улыбнулся едва заметно. — Человек, который не будет просить мира у хана, а сам его возьмёт.

— А коли не получится ничего у них?

— Тогда мы потеряем порох, свинец и три пушки. А сколько потеряем без него? Никита, скажи.

— Не моё это, считать, — повторил Никита и опустил голову.

— Скажи, — мягко попросил дядя.

Никита вздохнул.

— Тридцать одну деревню за девять лет. Четыреста двадцать душ в полоне. Две варницы.

Писарь поднялся, подошёл к столу и положил перед хозяином свёрнутый в трубку лист с красной печатью. Печать была чужая: четыре перекрещённые стрелы, внизу полумесяц.

— От Кучумова посла, — сказал Ефим безразлично. — Лежит с прошлого месяца. Вы велели не отвечать.

— Зачитай вслух.

Ефим развернул лист и прочёл ровным голосом, будто перечислял товары:

— «Хан сибирский Кучум приветствует людей Строгановых и желает им здоровья и процветания в соляном деле. Хан не хочет войны с мирными купцами. Хан готов дать три года тишины на Каме, без набегов и разорения. Взамен хан просит одного: чтобы ни один вооружённый человек не прошёл через Камень без ханского дозволения, а также чтобы купцы Строгановы торговали на Туре без московской пошлины и без московских приказчиков».

Никита поднял голову.

— Три года тишины, — повторил он тихо. — Господи, это же жизни. Сотни жизней. Дядя, неужели мы…

— Три года, пока он будет готовится, — резко сказал Максим. — Он нас не жалеет, Никита. Он нас откармливает на убой. Пока мы три года считать прибыль будем, он соберёт такую силу, с какой даже стрельцы царские не справятся.

— Оставим без внимания, — высказался наконец Семён.

— Совсем? — переспросил Ефим.

— Не откажем и не согласимся, пусть полежит в ларьке. — Семён Аникиевич смотрел на огонь. — Коли Ермак дойдёт до Искера, письмо нам и не понадобится. Если сгинет за Камнем, достанем и ответим хану: мы, непременно, были за мир, а казаки эти чужие тати, сами пришли, сами ушли, мы за них не в ответе.

— Но мы же сами их позвали, — сказал Никита.

— А кто об этом узнает?

В горнице стало так тихо, что слышно было, как потрескивает печь и как Ефим в углу тянет пером по бумаге. Никита побледнел.

— Господи Иисусе…

— Не Господи, голубчик, а торговля, — сказал дядя без злости. — Господу мы потом свечку поставим.

— А если Ермак почувствует власть на новых землях? — спросил Максим.

Семён Аникиевич долго не отвечал.

— Победу, Максим, надо уметь правильно пережить. Ты ещё для этого слишком глуп.

Максим хотел возразить и не нашёл слов. Он подумал, что дядя в этот миг сидит неподвижно, как кот у мышиной норы.

— Нужен свой человек в отряде, — сказал он наконец. — Чтобы записывал и присматривал.

Никита встал, постоял у окна и вышел, не поклонившись. Дверь за ним закрылась мягко, без стука. Ефим тоже ушёл, забрав с собой лист и перо. Максим остался.

— Идите, — сказал дядя. — Я посижу.

Максим уже взялся за ручку двери, но обернулся, потому что дядя встал и подошёл к старому дубовому ларю у стены. Ларь был окован железом, и Максим за всю жизнь видел его открытым раз пять. Дядя достал ключ, повернул, поднял крышку. Внутри лежали бумаги, перевязанные шнуром, мешочек с серебром, а сверху кусок березовой коры, свёрнутой в трубку. Дядя развернул её, посмотрел. На коре было что-то нацарапано: знак вроде полумесяца и под ним изогнутая линия, длинная, чешуйчатая, похожая на змею.

— Что это, дядя?

Семён Аникиевич быстро свернул кору и бросил обратно.

— Старая береста. Не твоя забота.

— Вы никогда мне…

— Ступай, Максим.

Он вышел. На лестнице остановился и посмотрел на свои руки. Строганов вдруг подумал, что у дяди, когда тот закрывал ларь, ключ дрожал в пальцах. Впервые за все годы, что Максим его знал.

Глава 6

— Эту пушку лил пьяный, — сказал Лука Перегуда.

— Дурость, — ответил мастер Герасим. Он стоял у литейной ямы, огромный, косматый, с обожжёнными до локтя руками, и даже не обернулся.

— А шо ж она кривая?

— Не кривая, паря. С характером. Целишься куда, туда и попадёт, только чудок левее.

— Чуть левее! — Лука обернулся к Ермаку. — Слыхал, атаман?

Ермак ничего не ответил. Он стоял над тёмным стволом, лежавшим на колодах, и прикидывал, сколько с него возьмут.

В оружейной слободе Орла-городка с утра до ночи стоял звон. Кузнецы гнули железо, литейщики лили свинец, мальчишки таскали уголь, и над всем этим висел жирный чад, от которого першило в горле. Строганов выдал им три пушки. Не подарил, не одолжил, а продал, и цена, которую назвал приказчик, заставила Кольцо присвистнуть, а Мещеряка выругаться на трёх языках.

— Двадцать пять рублев за ствол, — сказал Ермак. — С лафетом.

— Двадцать пять, — подтвердил Герасим. — Ты не думай, атаман, я цен не делаю. Мне сказали, я называю.

— Я за двадцать пять у ляхов лошадь отбивал, — вскрикнул Лука.

— Так то лошадь. Она сама себя кормит, а это чугун, за ним уход нужон — Герасим наконец повернулся и посмотрел на Луку, как на мальчишку. — Я тебе, паря, так скажу — Строганова пушки дороже, потому что они хотя б стреляют. Ты у кого другого бери, если у тебя рубли лишние.

Коротким движением Герасим показал на три ствола, выставленных в ряд. Первый был длинный, тонкий, с чёрными пятнами по меди. Второй приземистый, толстый, с широким жерлом. Третий вообще казался игрушечным.

— Эту кличат Вдова, — сказал Герасим про первый. — Потому что кто стоит перед ней, тот вдовой жену оставляет. Эту, толстую, Матрёной кличем. А мелкую не назвал ещё…

— Назовём Кучумовой тёщей, — выпалил Брязга, который уже полчаса вертелся рядом и гладил стволы, как лошадей. — Ей-богу, батька, назовём!

— Да вопи ты, — прервал Ермак.

— А я, батька, не воплю вовсе, я воодушевляюсь!

Кольцо хохотнул.

— Берём, шо ж. Деньги всё равно с нас три погибели сгребут.

Из-за угла кузни показались двое. Максим Строганов, в том же синем кафтане, что и на лестнице. Шёл он быстро, на ходу что-то говоря через плечо. Второй семенил следом, тощий, чистенький, с кожаной сумкой через плечо и пером, заткнутым за ухо.

— Атаман, — выкрикнул Максим, не останавливаясь. — Не помешаю? Дядя велел представить вам человека. Писарь, расчётчик.

Человек с сумкой поклонился. Поклон вышел короткий и аккуратный, ровно такой, какой положено.

— Тихон Ловчиков, с вашего позволения. Извольте приказывать.

— Мне писарь не нужен, — недовольно отвернулся Ермак.

— А я вас уверяю, — ответил Максим. — Вы неграмотны, атаман. Вам расписки придётся давать за всё задолженное. Дядя любит порядок.

— Он ваш писарь, не мой. Оставьте, пригодится.

— Считайте, что это мой вам дар. — Максим улыбнулся одной стороной рта. — Вы можете, конечно, найти своего. Только где? До Чусовой одни казаки, а вы сами видите, сколько среди них грамотных.

Кольцо ухмыльнулся.

— Грамотных у нас отродясь не водилось.

— Вот видите.

Ермак смотрел на Тихона. Тот ждал, чуть склонив голову. Глаза у него были серые, спокойные, с зелёной искрой. Ермак подумал, что видел такие у некоторых дьяков.

— Как мне тебя звать? — спросил он.

— Как прикажете, атаман. Хоть и Тишкой.

— Тихон так Тихон. — Ермак повернулся к Максиму. — Кажи дяде, шо примем писаря вашего.

— Передам.

— И шо я знаю, зачем он его прислал.

— Он и без вас всё понимает. — спокойно ответил Максим.

Строганов удалился, так же быстро, как влетел. Тихон остался стоять, держа сумку обеими руками.

— Извольте уточнить, атаман. — Он говорил вежливо, без суеты. — Пушки как прикажете записывать, за вами или за отрядом?

— За мной.

— Записано. Лафеты отдельно или вместе со стволами?

— Вместе.

— Порох?

— Сорок пудов, как договорились.

— Договорились на тридцать пять, с вашего позволения. Пять Семён Аникиевич обещал при условии, что вы подпишете договор с мехами. Но бумагу вы ещё не подписали…

Кольцо присвистнул.

— Тишка, а дышишь ты шо, тоже по записи?

Лука Перегуда вдруг расхохотался так, что трубка выпала у него изо рта. Мещеряк, стоявший у забора, смотрел на писаря исподлобья.

— Иуда, — буркнул он.

— Простите, не расслышал.

— Я гутарю, добрый человек, — переврал Мещеряк и плюнул через плечо.

К пушкам добавились сорок пудов пороха, двадцать свинца, тысяча пудов муки и триста человек, которых Семён Аникиевич выделил из своих людей. Это были литвины, немцы, пара татар и несколько остяков, нанятых за хлеб и обещание доли в добыче. Строгановские бойцы держались особняком, в одном углу двора, и с казаками не заговаривали.

— Шо, нам ещё ляхов в отряд? — ворчал Кольцо, наблюдая, как рослый усатый литвин в тулупе перетаскивает мешки.

— Не ляхи мы, пане, — возразил литвин, не оборачиваясь. — Литвины. Это как собака и волк.

— Кличут тебя как, волк?

— Яцек…

— Вот шо ж ты, пан Яцек! — Кольцо расхохотался. — Мы с тобой ещё дружковать будем.

Ермак слушал их болтовню вполуха. Он считал своё. У него было семьсот человек, три пушки, мало хлеба и много долгов. Строгановский займ рос с каждым днём, и каждый день Тихон Ловчиков подходил к нему с вежливым поклоном и новой записью.

Ночью они спали в одном шатре. Ермак положил его в углу, у входа, чтобы видеть, кто входит и выходит. Тихон не возражал. Он расстелил тулуп, лёг, накрылся, поблагодарил за место и затих.

Утром Ермак проснулся рано. Серый свет сочился сквозь полог, и в шатре стояла полная тишина. Он лежал и слушал. Из угла донёсся шорох бумаги. Тонкий, мягкий, осторожный. Потом тихий скрип пера.

Ермак приподнялся на локте.

Тихон сидел на тулупе, поджав ноги, с чернильницей на колене, и быстро писал при свете огарка. Увидев, что атаман не спит, он не вздрогнул и не спрятал лист. Только отложил перо.

— Здорово ночевали, атаман.

— Шо пишешь опять?

— Расходы. Свечи, лучина, дрова на ночь. Вы же велели записывать всё.

— Слыхал ночью что?

Тихон помолчал секунду, не больше.

— Не слышал, атаман. Я спал.

— Не спал, амат. — Ермак смотрел на него. — Про гутар мой ночной тож пишешь?

— У меня такой графы нет…

Ермак откинулся на спину и закрыл глаза. Но сон не шёл. В голове крутились три строчки, которые он теперь помнил лучше, чем собственное имя.

Глава 7

Хан сплюнул в ладонь. Зуб. Третий за зиму.

Он посмотрел на него без удивления и спрятал в рукав вместе с кровью. Широкий, шёлковый, с тяжёлым манжетом.

— Хан, — Карача вошёл в юрту.

— Слышу.

Они сидели в ханском доме на высоком берегу Иртыша. Русские называли это место Сибирью, а сами жители звали его Кашлыком. Дом был бревенчатый, с войлочными коврами на стенах и печью, выложенной глиняной плиткой. Внизу тянулась река, серая, с первым льдом у берегов, и ветер приносил оттуда запах рыбы и холода. На башне муэдзин негромко звал к молитве. Он принёс сюда веру пророка огнём и словом и сам теперь не всегда понимал, во что верит.

Ему шёл шестой десяток. Волосы, ещё недавно чёрные, за эту зиму поседели полностью, кожа на лице стала серой и тонкой, как пергамент. Только глаза остались прежними: тёмные, спокойные, внимательные.

— Люди вернулись с Чусовой, — сказал Карача. Старый визирь сидел напротив, подогнув под себя ноги, худой, горбоносый, с жидкой бородкой, и вертел в пальцах чётки из верблюжьей кости. — Строгановы собирают отряд. Казаки, из Ливонии пришли. Четыреста сабель. Теперь, говорят, уже семьсот: купцы дали своих людей.

— Дело не в числе, мудрый. — Кучум положил руку на колено, чтобы она не дрожала. — Дело в их пушках.

— Пушки в степи тонут в снегу.

— Только не в нашем.

Карача кивнул.

— Лучше хромая овца, хан, чем быстрая смерть. Пока они сидят у Строганова, здесь покой.

Дверь распахнулась без стука. В комнату вошёл Маметкул, племянник, молодой, широкоплечий, красный от мороза, и с порога заговорил громко:

— Хан, дай мне тысячу всадников! Я пройду на Каму, пока они ещё в своих норах. Снесу их городок, как в тот раз. Сожгу их склады, перебью купцов, и вернусь через месяц.

— В тот раз ты дошёл до Чусовой и вернулся с пустыми руками.

— Зима помешала мне!

— А сейчас, по-твоему, не зима? — Кучум улыбнулся устало. — Зима единственное разумное существо на этой земле, племянник. Она никуда не спешит и никого не щадит.

Карача тихо хмыкнул.

— Ты всегда так, — сказал Маметкул, и в голосе у него послышалась обида. — Ждёшь, пока враг уже будет у порога, а потом начинаешь действовать. Мои люди рвутся в бой, хан! Они устают сидеть.

— Посидят ещё немного.

— А если казаки дойдут до самого Искера?

— Пусть идут. — Кучум посмотрел на него. — Земля сама их встретит. Ступай, Маметкул. И остуди коня, ты его загнал.

Маметкул постоял ещё секунду. Затем повернулся и вышел, хлопнув дверью так, что с потолка посыпалась пыль. Карача покачал головой.

— Молод. Когда два барана бодаются, пастуху весело. Когда баран остаётся один, пастух начинает беспокоиться.

— Ты беспокоишься, мудрый?

— Я стар, хан. Мне уже нечего терять.

— Тогда иди.

Карача поднялся, поклонился и вышел. В доме стало тихо. Только за печью потрескивало, и где-то далеко на реке лёд хрустел под собственной тяжестью.

Кучум достал из рукава платок, вытер губы и посмотрел на красное пятно. Тяжело опираясь на стол, встал и пошёл в заднюю комнату.

Там, на полу, на медвежьей шкуре, сидел кам. Старик давно ослеп, но глаза его, белые, как молоко, всегда смотрели точно на того, кто входил. Он был мал, сух, весь в амулетах из кости и железа, и от него пахло дымом, кислым молоком и чем-то древним.

Звали его Тайгул. Он был старше Кучума, старше Карачи, старше самого Кашлыка.

— Хан пришёл, — сказал кам.

— Хан пришёл.

— Хан платит.

— Хан платит. — Кучум сел напротив, на пол, не обращая внимания на боль в спине. — Знаю, что скажешь…

— Кровь неполна, — подтвердил кам. — Кровь неполна, хан. Чаша стоит, а лист один не лёг.

— Я знаю.

— Хан ищет.

— Хан ищет восемнадцать лет.

— Хан платит. — Кам поднял белые глаза, и в них вдруг мелькнуло что-то острое. — За волков хан платит. Каждый день платит. Зубы, силу, сон, руку. Кам видит. Хан скоро заплатит последним.

— Ещё есть силы.

— Есть. Пока есть. — Кам помолчал. — Те, кто идёт с запада, хан. Они будут много. Они будут сильные. Они будут нести огонь. Тебе нужен не только волк. Пора пробудить Древнего…

Кучум не пошевелился.

— Время идёт. Кровь неполна. Хан ищет, не находит.

— Я найду.

— Найдёт. — Кам тихо засмеялся, и смех у него был шелестящий, как сухой лист. — Найдёт, хан, когда придёт ей время. Только найдёшь ли раньше, чем найдёт тебя тот, кто идёт с запада?

Кучум встал.

— Спи, старик.

— Кам не спит. Кам слушает.

Хан вышел, не оглядываясь.

Ночью он сидел один в своей комнате с погасшей лампой. Печь прогорела, в окне серел узкий месяц, и стены в доме скрипели от мороза. На полу, на шкуре, лежал огромный серый волк, старый, с белой мордой и рваным левым ухом. Хан звал его Сары, потому что тот был седой, как рассвет.

Кучум положил ладонь ему на лоб.

— Покажи.

Волк закрыл глаза. Вместе с ним закрыл глаза и хан.

Перестав быть собой, он оказался внизу, на краю леса, и перед ним вырос острог. Бревенчатая стена с башнями, на башнях огни, над ними чёрное небо. Запах дыма, мокрой кожи, копчёной рыбы. Он видел чужие лица на стене, светлые пятна у огней. Видел часового, который что-то говорил, показывая на лес. Видел двоих у зубца: невысокого, смеющегося, и другого, высокого, тёмного, с прямой спиной.

Высокий смотрел прямо на него. В темноту, на опушку, туда, где сидел волк. Не моргая. Не отворачиваясь, пока второй не ушёл. Он стоял и смотрел до рассвета.

Кучум открыл глаза. Из носа текла кровь, горячая, тонкая струйка по верхней губе. Он вытер её рукавом. Голова кружилась.

Волк тихо заскулил.

— Знаю. — Кучум погладил его по седому лбу. — Я тоже его запомнил.

Он остался сидеть в темноте. Считал. Он счита

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.